



Илья Бояшов

Писатель, историк. Родился в 1961 году в Ленинграде. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства (2021) и премии «Национальный бестселлер» (2007), финалист Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» (2022). Книги его неоднократно экранизировались (по повести «Танкист» снят фильм Карена Шахназарова «Белый тигр»). Живет в Санкт-Петербурге.

Снайперша

Класс попал в надежные руки.

Кто-то из наших особо отъявленных негодяев, имевших наглость прикладывать ухо к двери директорского кабинета, вроде бы слышал: деликатнейший Марк Наумыч, к которому самым цепким репьем прилепилась кличка Пингвин (залысинка, птичий нос, пятидесятилетнее брюшко), то ли сказал плачущей нашей прежней классной, отказавшейся от Голгофы, то ли сам себе пробормотал под клюв: «Сукины дети попляшут».

Инна Яновна Муравьева (русский язык и литература) имела слоноподобный шаг, груди, больше похожие на подушки, кофту, на которой только погон не хватало, отдающую казармой юбку, казенные туфли, чулки унылого цвета, круглые маленькие очки, создававшие женское воплощение «человека в футляре». Настоящим бонусом для «детей» был ее бесподобный рык.

При всем при этом нельзя не признаться: в новой классной была некая грациозность, завораживавшая даже нас, подлецов-шестиклассников, некая крупная красота. При всей ее грозной громадности черты лица были верно сложены, фигура пропорциональна, а волосы просто

удивительны: никогда я больше не видел столь «дымящихся» пышных волос, уложенных в косы и заплетенных «кренделем» вокруг великанской ее головы. По сей день помню, как посещавшие совсем на чуть-чуть, на самую малость мрачный наш кабинет-застенки (самый темный во всем здании) нити солнца ласкали в испарившемся уже навсегда 1973 году эту гордую голову, и каждый поднявшийся над «кренделем» волосок (а упорных, несгибаемых волосков было много) светился тогда настоящим золотом. В «буке» нашей в те восхитительные моменты проступала женская мягкость, заставлявшая капитулировать весь мой подростковый цинизм.

Я расслаблялся — о чем впоследствии и жалел.

«Что уставился на меня? Марш, марш к доске...»

Это ее чертово унтер-офицерство! Это «марш, марш...»

Когда все случилось? Когда все произошло? На каком уроке заплясала под пришибеевскую дудку несгибаемая «камчатка» (наводившие ужас на учительниц рисования и пения, робких цыпочек-интеллигенток, неизвестно за какие грехи влачащих дни свои в разбитной, разухабистой школе, Козлов, Ратников, Василевич)? А уж этим-то молодцам палец в рот не клади, уж эти-то гнусные каты знали толк в вытягивании нервов у самого железобетонного педагога.

«Марш, марш к доске, мерзавцы...»

Охватывая взглядом одновременно весь список фамилий в журнале, всех присутствующих, всех опаздывающих, всех отсутствующих и, подозреваю, весь мир (тот взгляд ее не забыть — всевидящий, вездесущий, поистине всеохватный), Инна Яновна Муравьева все-таки не имела тяги к садизму, не тянула резину, не скользила по списку карандашом, сладострастно причмокивая: «Так, кого же сегодня послушаем», — а вызывала мгновенно, выстрелом-приговором: «Марш, марш к доске, Козлов!».

«Камчатец» Козел плелся уныло к доске. И если не отвечал — то: «Марш, марш к стенке!».

Бедолага плелся к стенке (в угол возле доски и окна) и маялся там до конца (я имею в виду, до конца урока).

Если уроки были сдвоенные (литература плюс русский язык), приговоренные мучились, стоя всю литературу плюс перемену, плюс еще русский язык.

Иногда были заняты все углы.

Иногда были заняты все углы плюс задняя стенка в классе.

Помню момент: были заняты все углы и все стенки.

Степа Загольский! Невероятный Загольский! Любимец девочек и шпаны. Гламурный подонок, которому черт был не брат! Верный канди-

дат на отсидку в сибирских колониях (так впоследствии и произошло), изошренная сволочь, нагло садившаяся в первом ряду со своим небольшим секретцем — прикрепленным к ботинку зеркальцем (подлым, наглым, всевидящим глазом).

Степа видел заморские трусики нашей модницы-математички.

Отечественные, простые — географини-завучихи.

Зимние, розовые, «с начесом» — престарелой учительницы английского.

Обладатель ботинка «с секретцем» никогда не носил носки. Сменной обуви у него тоже не было. Как он проскальзывал мимо стоявших у школьного входа дежурных — не ведаю. Он рискнул: он присел на первую парту, не приняв во внимание всевидящее и во все проникающее око Инны Яновны Муравьевой.

Была осень, с первым льдом и всем таким прочим...

Домой Степа пришел босиком.

Папа Степы безбожно пил. Но вот мама явилась жаловаться.

— ...И еще, — под самый конец душераздирающего разговора заявила Степина мама Пингвину, когда «все формальности» нашей добродушной антарктической птицей были улажены, самые горячие извинения разгневанной мамой приняты и опасность «дальнейшего хода дела» окончательно миновала (я все слышал, все видел: приговоренный за какие-то — хоть убей, не помню теперь, — грехи к уборке директорского кабинета, уныло елозил я тряпкой по расклеивающемуся линолеуму в пустой секретарской, а дверь на этот раз была приоткрыта и не было никакой надобности приникать к ней раскаленным шпионским ухом). — У нее очень тяжелый взгляд. Знаете, такое ощущение — как прицеливается в тебя...

Добрейший Марк Наумович кашлянул в кулачок.

— Это неудивительно, — отвечал Марк Наумович.

Затем Марк Наумович замолчал. Марк Наумович невыносимо долго разглядывал в окно серятину питерской осени — голые, словно только из душа, дворовые деревца, гнусные охтинские однотипные «хрущевки», которые со всех сторон совершенно по-хулигански зажали в круг нашу серую безнадежную школу (кумачовый плакат «Знание-сила» над ее крыльцом не в счет), — и вздыхал, и хрустел своими сцепленными пальцами.

Я водил проклятой высохшей тряпкой; пальцы Пингвина хрустели; Степина мама сопела и упорно ждала продолжения.

— Это неудивительно, — повторил Марк Наумович. — Она была снайпером на войне. Девятнадцать убитых немцев...

Толик Курпатов заикался самым ужаснейшим образом.

Толик мучился энурезом.

Всякий раз, когда его вызывали, он принимался дрожать.

Безобидность его настолько бросалась в глаза, что Толика, кажется, никто никогда не побил.

Над овцой даже никто не смеялся.

Годика через два той удивительной дрессировки (до сих пор не пойму я: как? каким колдовством? каким неведомым образом все прежде буйное, наглое так безропотно, так безнадежно вдруг сразу же, «с первой встречи, с первого взгляда» было подмято этим беспрекословным «Марш...»?), когда все мы, включая Козла-дурака, подонка Степу Загольского и силача Василевича, уже превратились в обездвиженные бревна, в каких-то задумчивых буратин («Марш, марш к доске...», «Марш, марш к стенке»), когда на русско-литературных уроках (опять-таки восторжествовав непостижимым, магическим и самым зловещим образом) свирепствовала нигде более — ни в каком месте, ни в каком учреждении впоследствии мною не виданная — та самая стеклянная муравьедовская тишина, любой шорох, любой неожиданный скрип в которой воспринимался нонсенсом, вызовом, святотатством, — ритуальное дрожанье нашего Толика Инне Яновне Муравьевой, этой великанше с «дымящимися» волосами, озиравшей весь мир своим недреманным оком (все те же казенные юбка и кофта, все те же чулки и туфли) и убившей на войне девятнадцать немцев, окончательно поднадоело.

Был Некрасов («Орина, мать солдатская...»)

— Марш, марш к доске, Курпатов!

Зашатавшийся Толик дрожал.

— Ну?

— Ч-ч-чуть ж-ж-жив-вые в ночь осен-нюю

М-мы с о-охоты воз-з-з-враща-ща-ща-емся...

«До ночлега прошлогодного» Толик так и не добрался («Марш, марш к стенке»). Впрочем, он не долго там находился. Вновь последовало:

— Марш, марш к доске!

— Ч-ч-чуть ж-ж-живые в н-н-н-ночь...

— Марш, марш к стенке!

Толик выходил несколько раз, заикаясь все более — и вновь отправлялся «к стенке». Класс безнадежно молчал. Убившая девятнадцать немцев Инна Яновна требовала непреклонно:

— Марш к доске!

После того, как свирепый, колкий, словно сирена, звонок поздравил истосковавшуюся бурсу с окончанием (на сегодня) мучений, и лестницы

на четырех этажах загудели от топота (школа ринулась к выходу), какое-то время мы слонялись по коридору, полируя щеками кабинетные двери. Из-за них доносилось:

— Ч-ч-ч-уть ж-ж-жив-вые...

— Марш к стенке.

И — через каждые пять минут — очередное:

— Марш к доске.

— Ч-ч-чут-ть...

Положение было безвыходное: через час и самые любопытные разошлись по домам.

Стерва-отличница Тычкина, верткая вредная обезьянка — с ней носились как с писаной торбой даже в местном РОНО (я уже не говорю о Пингвине!) — помимо всяческих тоскливых общественных, полагающих ее статусу, работ нагруженная «по самое не балуй» еще и ежевечерней скрипкой, следующим же утром поклялась в раздевалке, что вчера, когда уже в сумерках она пробежала мимо нашей Бастилии со своим дурацким футляром, то однозначно видела — окна муравьедовского русско-литературного логова были ярко освещены.

Мы бы совершенно не удивились, если бы на следующий день вместо Толика к Инне Яновне Муравьевой заявили все его родственники, но — вместо возмущенной толпы из бабушек-дедушек, мамы-папы, адвокатов, завучей и прочих разгневанных тетей — притащился бледный страдалец.

— Марш, марш к доске, Курпатов!

Толик вышел. Толик откашлялся:

Чуть живые в ночь осеннюю,
Мы с охоты возвращаемся.
До ночлега прошлогоднего,
Слава Богу, добираемся...

Не знаю, как все произошло, не ведаю, как все случилось, не помню, как там насчет энуреза, но больше Толик не заикался — никогда и нигде — это может подтвердить каждый из нас, свидетелей, ошалевших, испуганных, сжавшихся за партами, боявшихся даже вздохнуть, чтобы не быть насквозь просверленными знаменитыми, всевидящими очами.

Убившая девятнадцать немцев Инна Яновна Муравьева удовлетворенно кивнула.

Инна Яновна Муравьева сняла свои круглые маленькие очки.

Инна Яновна Муравьева разразилась в тот день монологом, поставившим (вынужден признаться) на мою довольно рассеянную, избира-

тельную память, которая вообще-то до сих пор не особо утруждает себя записью множества других, возможно, более значимых событий, встреч и монологов свою неизгладимую, нестираемую печать.

— Я люблю мальчиков и девочек, — сказала тогда Инна Яновна Муравьева, — которые упрямы в достижении собственной цели. Я люблю тех мальчиков-девочек, которые никогда не лгут и никогда не обманывают. Я люблю тех мальчиков-девочек, которые преодолевают себя. Я люблю тех мальчиков-девочек, которые верны данному ими слову; не трусят перед опасностью, не юлят, не пытаются переложить свою ответственность на плечи других, стойко стоят на посту, мужественны и упорны; для них нет слова «я не могу» или «пусть сделает кто-то другой»; которые, начиная работу, всегда заканчивают ее, которые трудолюбивы, любознательны, в которых нет черной зависти и нет даже намека на лень... Я люблю тех мальчиков-девочек, которые не слоняются по дворам, не суют свой нос в любую заборную щель, не сквернословят, не пытаются подражать курильщикам или, того хуже, шатающимся забулдыгам, а каждый день начинают с зарядки и каждый вечер заканчивают книгой.

Убившая девятнадцать немцев Инна Яновна Муравьева продолжала перечисление. Заглянуло короткое солнце — это я помню отчетливо, ясно, как только что произошедшее, — дымящийся «крендель» золотился на ее царственной голове.

Меня она не любила.